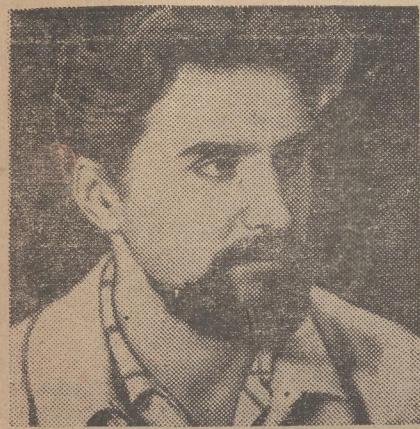


Дорогому Андрею Петровичу
Кошмарному
Родику Благодарю за
мужской
новый и чистый
здорово.

Виктор Афанасьев
16 февраля 1968
Москва

СТИХОТВОРЕНИЯ

Москва
1968



Виктор АФАНАСЬЕВ

НОВЫЕ СТИХИ



В лесной глухи душе моей простор
и больше ласки зрению и слуху;
здесь, раскрываясь медленно и глоху,
блестят окошки маленьких озер.

И солнце, с чисто северной ленцой
виском склоняясь на косяк зеленый,
встречает добро взгляд мой истомленный,
колебля в водах круглое лицо.

* * *

там я всю ночь метался на овчинах,
чуть шевеля распухшим языком.

Вот здесь шагал я влажной бороздой —
черным-черны ступни мой босые!
Была со мною мать моя — Россия, —
как медный крест под буйной бородой.

Отсюда, встав задолго до заря,

я верил только в звончные гусли;
да в свой топор, да в сыновей своих.

А сколько раз мне ставили кресты
на деревенских нищенских погостах —
они, как мачты, поднимались в воздух
среди озерной русской красоты.

Все — плоть моя: и ком земли сырой,
и дуб, и камень у дороги пыльной;
я всюду — безымянный, бесфамильный.

РЕЧКА ТАЛИЦА

Извилиста до странного,
под сенью тальника
струится из Муранова
навстречу мне река.

Ах, маленькая путница,
мне мил
твой добрый нрав!
В весеннюю распутицу
ты вышла из дубрав.

Перехожу
по бревнышку,
я на берег другой,
а подо мною солнышко
прикинулось рекой.

Все заново!
Все заново
хочу я здесь начать:
хочу в полях Муранова
зарю свою встречать,

у ельника колючего,
у розовых берез
читать на память

Тютчева
при свете майских гроз.

Прими меня, незваного,
как друга, земляка,
в окрестностях

Муранова
живущая река!

Давным-давно (века!) я не был здесь.
А был ведь я большим свободолюбом —
с колчаном стрел таясь за мощным дубом,
я лук сгибал, с врагов сбивая спесь.

Вон там, в избе с изогнутым коньком,
меня водой поили при лунах;

ОБЛАКА

Ослепителен мир этот старый,
он с холма открывается мне —
облака пузырятся опарой
в золотисто-зеленой кашне.

Облака затевают игру,
неуклюжие, словно медведи,
на лазурно светящейся меди —
в поле, в Медномедовом бору.

СОСНА

В ней замерло давно
движенье сока,
покрылась мхом и высохла кора.
Незрячий ствол
вздымается высоко
в предчувствии грозы иль топора.

Здесь родилась и здесь она умрет.
Но кажется,
что в желтой крутоверти,
обломки веток выставив вперед,
сосна шагает против ветра смерти.

* * *

Бросая курам крошки хлеба,
старуха грелась у окна.
Гладь вечереющего неба
была, как печь, раскаленна.

Платок, упавший на колени,
лежал, как будто сотни лет
он так лежал, избегнув тленья,
дыханье старческим согрет.

И, как овраги и лощины,
как щели в высохшем крыльце,
застыли добрые морщины
на аскетическом лице.

Когда лучи бьют с неба косо,
на ужин сходится семья —
идут то с битвы, то с покоса
в одеждах пыльных сыновья.

В ручищах, сильных по-медвежьи,
несут ей что-нибудь всегда:
цветов, ракушек, веток свежих.
Убитых братьев иногда.

И если гром грозится с неба —
сурово крестится она...
Бросая курам крошки хлеба,
сидит старуха у окна.

* * *

Глухое, холодное место,
глубокий, мерцающий снег,
над горном подручный Гефеста
качет простуженный мех.

Скрипит приоткрытая дверца,
поземка летит на порог,
не мне ли ты новое сердце
куешь, древнегреческий бог?

Подручный твой гибок и молод —
когда-то и я был таким, —
вот с грохотом рушится молот
и снова взлетает над ним.

Отсюда, встав задолго до зари,
по диким тропам, вьющимся по склонам,
я шел чудесным кланяться иконам
в пропахшие смолой монастыри.

Но я не стал холопом ни на миг,
мне все одно: Стрибог ли, Иисус ли —

Мне край вспоминается дальний,
холмы и березы окрест,
и в кузнице над наковальней
склонившийся старый Гефест.

Не вымолвит за день ни слова,
а если устанет чуток,
присядет, покурит и снова
волшебный берет молоток.

Пойдет на мороз охладиться,
а там, над угремой тайгой,
другой уж кузнец суетится,
огонь раздувает другой.

* * *

День полон был противоречий:
минутный ливень — снова жар,
и солнце снизилось под вечер
и превратилось в красный шар.

Оно как будто расширялось,
вцепившись краем в черный лес,
и чем сильнее опускалось,
тем был тревожней цвет небес.

Все фантастически горело,
пурпурным было все вокруг,
и тучи лезли одурело
в огонь и вспыхивали вдруг,

а их пронзали копья света,
роняя искры до земли.
И так прекрасно было это,
что страх и радость сердце жгли!

— плоть моя: и ком земли сырой,
и дуб, и камень у дороги пыльной;
я всюду — безымянный, бесфамильный —
трещу в кострах березовой корой.

Как пузыри, идущие со дна,
во мне всплывают прожитые годы,
когда гляжу я в сумрачные воды,
которым память ясная дана.

* * *

Обыкновенный товарный вагон,
замкнутый
ржавым железным запором,
мчался в цепочке таких же, как он,
мимо полей, перелесков, заборов.

В дужке замка колыхались цветы,
ветер трепал их сухие останки.
Кто их сюда прикрепил?

Может, ты,
телеграфист на глухом полустанке?

Сипло гудел в тишине паровик,
и отвечал ему с мокрого луга
коротконогий задумчивый бык,
теплые веки зажмуривший туго.

Ночью на станции в темном лесу
заспанный смазчик
с лицом осовелым,
тусклый фонарь свой
держа на весу,
долго читал, что написано мелом:

— «Чеховъ!»
Видать не простой господин,
если везут хоронить издалека,
если и с мертвым такая морока —
целый вагон занимает один! —

Чехов недвижно лежал и не мог
черную крышку откинуть
со смехом...

Тронулся поезд. Раздался гудок.
Мрак отзвался пронзительным
эхом.

Рисунок В. СОКОЛОВА

МАСШТАБНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

на художественных выставках



А. ЛАБАС. Девушка на балконе.



Борис СЛУЦКИЙ

НАЧАЛОСЬ время выставок. В Москве их по шесть-семь одновременно. Очень мало, если вспомнить о закромах, накопленных нашей живописью. Очень много, если сравнить с еще недавними временами. Одна из самых примечательных была недавно на Кузнецком, в Доме художников. Два скульптора — Тенета и Шульц. Три живописца — Аксельрод, Горшман, Лабас.

Все пятеро — мастера, талантливые и работающие. Все пятеро — люди очень немолодые, работающие в советском искусстве едва ли не с самого его начала. На этом сходство кончается. Пять зрелых самостоятельных мастеров были собраны под одной крышей.

Помогают ли они друг другу? В какой-то степени помогают, так как все время радуешься завидной и щедрой талантливости. Однако зритель, честно, то есть внимательно посмотревший, скажем, 200 вещей Лабаса, вряд ли способен стол же продуктивно рассматривать многие сотни вещей его соседей. Пора переходить к персональным выставкам, особенно, когда речь идет о шестидесятилетних мастерах, получивших право показаться как следует, с отчетом за всю жизнь, а не за один сезон.

Экспонировано 250 работ Аксельрода. Это малая, даже не десятая, даже не двадцатая часть сотовренного, и творимого талантливым художником.

Вхутемасовец той славной поры, когда к студентам приходили и Ленин, и Маяковский, Аксельрод, как и другие ученики Фаворского, вынес из школы широкое и разностороннее умение. Трудно назвать жанр — живописный или гра-

ум, талант, творческое начало. Примечательна и сама идея — запечатлеть лица творческих людей сего, быстро текущего дня. Другая любовь художника — пейзаж. Казалось бы, что прибавишь к Коктебелю, писанному и переписанному Волошиным и Богаевским! Аксельрод прибавил. Он создал Коктебель цветущий, апрельский, Коктебель, героям которого становится не море, не скалы, а тамариск. Этот радостный Коктебель останется рядом с загадочным побережьем Богаевского и молчаливым величием пейзажей Волошина. Весенний Казахстан, Коканд, Белоруссия — в каждом случае десятки листов, за редкими исключениями еще не выставлявшихся.

Наконец театр, особенно еврейский театр. Художник работал еще с Михоэлем. На выставке — отличные эскизы его декораций.

Аксельрод — малограммное имя в нашей живописи. А ведь еще юношей он выставлялся с «Четырьмя искусствами». Листы его висели рядом с работами Павла Кузнецова, Матвеева, Фаворского, Петрова-Водкина. Первая в жизни шестидесятилетнего художника масштабная выставка доказала, как велик запасник нашего искусства и как необходимо этот запасник показать народу.

Другой незаслуженно малограммкий художник — Лабас. Он больше экспериментировал смолоду, начинал в иной славной компании наших живописцев — ОСТе — вместе с Дейнекой, Пименовым, Вильямсом. Лабас также отчитывается более чем за сорок лет работы и тоже выставил сотни картин и графических листов.

Он из тех мастеров, которых новое интересует больше, чем вечное, меняющееся — больше, чем постоянное, движение — больше, чем покой. Замечательна картина «В аэроплане». Уже слово «аэроплан», почти забытое слово 20-х годов, определяет время ее написания. Художник вводит нас в кабину такого маленького сейчас, такого величественного тогда аэроплана, заставляет посмотреть на него глазами ныне уже древних двадцатых годов, почувствовать его загадочное и непривычное величие.

Дирижабли, первый паровоз Турсиба, который Лабас писал с натуры, маленькие блестящие трамвайчики той поры, когда дом «Известий» на Пушкинской площади еще всерьез назывался небоскребом, вся немудрящая и славная техника того времени, просто движение уличной толпы где-нибудь в центре Москвы — все это портретирует Лабас. Краски активные, напористые, и во всем цикле картин — мажор, веселье, советская новь, роднявшая Лабаса с его товарищами по ОСТе.

В субботу, 10 октября, в Москве худож-



М. АКСЕЛЬРОД. Баркасы.

РОЖДЕНИЕ

1878 год. Молодой польский революционер, участник социалистических кружков, Вацлав Свенцицкий брошен в тюрьму. Он сидит в десятом блоке Варшавской цитадели. Здесь он пишет первые свои поэтические произведения (это была острая сатира на самодержавные порядки!) и помещает их втайной рукописной тюремной газете «Голос заключенного». Помощник редактора этой газеты Юзеф Плавенский, тоже узник десятого блока, был врачом по профессии. Пользуясь своими познаниями, Юзеф Плавенский успешно симулировал в тюрьме психическое заболевание, и тюремный врач Курлович, втайне сочувствующий Плавенскому и будучи с ним знакомым, стал «лечить» его модным в ту пору методом — музыкой. Сначала в госпитале, а затем в камере десятого блока была постав-

лена фисгармония, и «большой» Плавенский целыми днями музиковал, наигравая, между прочим, и революционные мелодии. Среди них была и популярная песня времен восстания 1863 года «Марш Жувавов» на слова Владимира Вольского, либреттиста оперы Монюшко «Галька». Вацлав Свенцицкий, слушая в тюремной камере игру Плавенского, пленился этим «Маршем Жувавов». Марш вдохновил его на создание «Варшавянки».

*Марш, марш, Жувавы,
На бой кровавый,
Святой и правый,—
Марш, Жувавы, марш!*

Так звучала боевой рефрэн песни у Владимира Вольского. В этих стихах легко узнать источник строк Свенцицкого:

*Вперед, Варшава!
На бой кровавый,
Святой и правый,—
Марш, марш, Варшава!*

Статья написана для «Литературной России».

к студентам приходили и Лепин, и Маяковский, Аксельрод, как и другие ученики Фаворского, вынес из школы широкое и разностороннее умение. Трудно назвать жанр — живописный или графический, — в котором бы он не работал. Однако взглядаешься и определяешь преимущественные пристрастия Аксельрода. Прежде всего — портрет. На выставке — целая галерея портретов советской художественной интеллигентии. Прекрасные, исполненные сосредоточенной внутренней мысли лица писательниц Майи Ганиной, Елены Ржевской, замечательный по характерности Шкловский, заставляющий вспомнить работы Анненкова и Фалька, портретировавших в свое время автора «Сентиментального путешествия», острые портреты художников Шагиняна и Шпинеля, фельетониста Нариньи.

Несмотря на пристрастие позднего Аксельрода к яркости, цветистости, которая нарастает с каждым годом, в лучших портретах он пишет прежде всего

краски — все это коротко, краски активные, напористые, и воникле картины — мажор, веселье, сказка новь, роднящая Лабас с его гордыми по ОСТУ.

Во время Октября в Москве художник, тогда еще семнадцатилетний студент, видел уличные бои. Десять спустя он написал серию Октябрьских картин, суровых и значительных.

Из многих выставленных Лабас портретов запомнились широко, однобоко написанный портрет Переца Микиша — еще совсем молодого и счастливого, и недавний портрет искусствоведа Северцевой — русской полинезийской смуглой, спокойной, статной.

Очень тесно было на выставке первым мастерам. Очень тесно им и в этой заметке, попросту не хватает места для разговора о блестящих иллюстрациях Горшмана к очеркам «Бур Помяловского, к сказкам Переца, рассказа о скульптурах Тенеты Шульца.

КАК СЛОЖИЛИ ПЕСНЮ

«ВАРШАВЯНКИ»

Текст написанной Свенцицким «Варшавянки», которую не пропустила бы никакая цензура, требовалось вынести за стены тюрьмы. Песню зашифровали, пользуясь печатным изданием «Пана Тадеуша» Мицкевича, путем подчеркивания букв в форме. Получив из тюрьмы книгу с «Паном Тадеушем», сестра Вацлава Свенцицкого Карolina благодаря немалому терпению расшифровала текст «Варшавянки», записала песню и упрятала листок с этой записью в бутылку, которую закопала в саду подле дома Свенцицкого.

Когда Свенцицкий после тюремного заключения и нескольких лет ссылки в Сибири вернулся в Варшаву, он вырыл эту бутылку и напечатал свою песню, внеся в нее поправки, в первом номере нелегальной революционной газеты «Пролетариата» (15 сентября 1883 года).

На русский язык, как известно, «Варшавянку» перевел близ-

жайший друг и соратник В. И. Ленина Глеб Кржижановский.

Заключенный в 1897 году в Бутырскую тюрьму в Москве, Г. М. Кржижановский встретился там с группой польских революционеров, которые часто пели ему польские революционные песни, в том числе и «Варшавянку» Свенцицкого. Г. М. Кржижановский перевел тогда на русский язык и другую польскую песнь — «Красное знамя», — созданную в 1881 году поэтом-социалистом Болеславом Червеньским.

Напомним хотя бы одну строфу этой яркой песни:

*Долой тиранов! Прощь оковы!
Не нужно старых, рабских
пут!*

*Мы путь Земле укажем
новый,
Владыкой мира будет труд!*

Песня «Красное знамя» — прямая наследница песни парижских коммунаров, возникшей в 1871 году под тем же

названием. Однако это не перевод с французского, а самостоятельное произведение Червеньского. Кроме названия песни и мелодии, польский поэт взял из французского текста лишь рефрены, придя ему в своем переводе еще большую силу и выразительность.

И «Варшавянка», и «Красное знамя» стали любимыми песнями польского пролетариата, его революционными гимнами.

С «Красным знаменем» на устах шел на казнь несгибаемый польский революционер Марчин Каспшак. Мелодии «Варшавянки» и «Красного знамени» звучали на улицах польских и русских городов в дни революции 1905 года.

Любил эти песни и пел их по-русски и по-польски Владимир Ильич Ленин. На немецкий язык их перевела Роза Люксембург.

Степан КЛЕНОВСКИЙ
ВАРШАВА